Елена Арсеньева

любовь великих женщин

Русские куртизанки

Русские куртизанки

Елена Арсеньева

Бедная нина, или Куртизанка из любви к людям искусства (Нина Петровская)

«Автор»
2009

Арсеньева Е. А.

Бедная нина, или Куртизанка из любви к людям искусства (Нина Петровская) / Е. А. Арсеньева — «Автор», 2009 — (Русские куртизанки)

ISBN 978-5-699-30099-0

Светские дамы сомнительного поведения… Одни из них были влюблены в сам процесс соблазнения и заняты поиском телесных наслаждений. Вторые делали через постель карьеру, совмещая приятное с полезным. Третьи искали в многочисленных связях с мужчинами мистический смысл. Так или иначе, но равных им не было. Они заставляли трепетать мужские сердца и пускались в самые рискованные любовные авантюры. О страстях, взлетах и падениях наперсницы императрицы Екатерины II Прасковьи Брюс, балерины Авдотьи Истоминой, подруги поэтов и писателей Нины Петровской читайте в исторических новеллах блистательной Елены Арсеньвой.

ISBN 978-5-699-30099-0

© Арсеньева Е. А., 2009
© Автор, 2009

Елена Арсеньева
Бедная нина, или Куртизанка из любви к людям искусства (Нина Петровская)

…Девочка Ниночка,
Ты – паутиночка
В утренней мгле.
Девочка Ниночка,
Ты – как былиночка
Никнешь к земле.

Глазки печальные,
Мило овальные
Как я люблю!
Миги печальные,
Миги прощальные
Ласково длю.

Девочка Ниночка,
Вижу – слезиночка
Скрыла твой глаз.
Девочка Ниночка,
Ты – как былиночка
В ветреный час!..

Однажды девочка Ниночка Петровская, дочка убогого чиновника, средненькая такая гимназисточка, ничего еще о жизни не знающая, но безотчетно томящаяся скукой нормального человеческого бытия, собралась замуж за хорошего человека, которого ей сосватали родители. Когда потом, спустя совсем немного лет, знакомые спрашивали ее, кто был ее жених, она пожимала плечами. Как его звали, допытывались знакомые? Ниночка мучительно воздевала очи горе, словно пытаясь разглядеть что-то на небесных скрижалях, потом прищелкивала пальцами, ловя ускользающее из памяти имя, потом… потом снова пожимала плечами. Ну ладно, каков он был собой, теряли терпение знакомые?!

– Да не помню я! – взрывалась Ниночка. – Не пом-ню! Это было давно, давно, давно… – И словно подводила жирный черный знаменатель под прошлым: – И это было не со мной!

Свою жизнь несостоявшаяся невеста неизвестного жениха начинала исчислять не с момента рождения (она настолько плохо его помнила, что всегда путалась в годах своих, а может быть, просто-напросто их скрывала), а со дня встречи с молодым зажиточным москвичом Сергеем Соколовым (Кречетовым, таков был у него псевдоним), который охотно тратил свои немалые деньги на содержание издательства «Гриф» и на издание одноименного альманаха. Именно он увел девочку Ниночку из родительского дома – да нет, не под проклятия родителей, а с немалого их одобрения, потому что был, повторимся, состоятелен и производил впечатление почтенного человека. При этом шалой и неуравновешенной девочке Ниночке сначала с ним было вовсе не скучно, потому что Соколов по молодости лет был подвержен модным в начале XX века метаниям и исканиям, обожал магические слова «символизм» и «декадентство» и вел знакомства с самым широким кругом этих самых символистов и декадентов.

И, сделавшись его женой, Ниночка вдруг поняла, для чего она была рождена на свет. О нет, вовсе не для того, чтобы топтаться возле зубоврачебного кресла, глядя в чью-то изъеденную кариесом пасть, слушая жужжание бормашины. Она была рождена ради того, чтобы внимать непонятным, порою даже невразумительным стихам, впадать от них в глубокий восторг или даже в транс, шептать в унисон запавшие в душу строки, смотреть на поэтов влажными от счастья глазами, бормотать: «Ах Боже мой, вы гений, нет, я истинную правду говорю!», а уже под утро, когда многочисленные гении расходились, вернее, расползались по домам, можно было, пользуясь тем, что муж уснул, томиться, глядя на звезды, торопливо зажигать свечу (хотя нет, зачем свечу, можно было и электричество зажечь, которое как раз провели в некоторых домах, в том числе и в том, где поселились молодые супруги) и чиркать по бумаге перышком, слагая слова в строки, может быть, не столь изощренные, как у гениев, но искренние и мучительные, словно звездный свет:

Из жизни бедной и случайной
Я сделал трепет без конца…

Ей хотелось жить так, чтобы трепетать каждым нервом, всем существом своим! Дух бродяжничества жил в ней от рождения; она ненавидела скопление бесполезных предметов, всякого рода «имущества», не служащего насущным потребностям человека.

Ей хотелось влюбиться и дышать одной любовью. Любовь открывала для человека творческого – а Ниночка считала себя человеком творческим и даже что-то там пописывала, какие-то рассказики, какие-то статеечки, более или менее миленькие или противненькие, чистенькие или грязненькие… – любовь, стало быть, открывала прямой и кратчайший доступ к неиссякаемому кладезю эмоций. Достаточно влюбиться – и человек становился обеспечен всеми предметами первой лирической необходимости: Страстью, Отчаянием, Ликованием, Безумием, Пороком, Грехом, Ненавистью и т. д. Поэтому все и всегда были влюблены: если не в самом деле, то хоть уверяли себя, будто влюблены; малейшую искорку чего-то, похожего на любовь, раздували изо всех сил. Недаром воспевались даже такие вещи, как «любовь к любви».

К изумлению своему, Нина поняла однажды, что жить с издателем – это почти то же самое, что жить с чиновником. Соколов любил безумства чужие, но сам безумствовать не любил. Он был занят корректурами, встречами с авторами и критиками, беседами, выбором обложки для номера альманаха, всякой такой скучнятиной. В представлении Нины он весь был, как их квартира в Москве на Знаменке: ничем не одухотворенная, бесстильная, с вещами дурного вкуса, купленными без любви. Тогда Нина еще не знала, что мужчину одухотворяет женщина, так же как хозяйка одухотворяет свой дом. Впрочем, она никогда не научится одухотворять свое жилье, а вот мужчин… да, с мужчинами это у нее получится! Пока же дни ее проходили, точно под стеклянным колпаком, откуда мало-помалу выкачивают воздух, как напишет она потом в своих воспоминаниях, процитировав чудовищно точный и страшный образ, придуманный одним из ее прежних литературных знакомцев, Евгением Замятиным…

Природа иногда наделяет некоторых женщин особым даром воздействия на мужчин: к их высшему духовному таланту женщины эти пробиваются через потребности, которые в обществе принято считать низменными, – через чувственность, похоть, плотские желания. Именно такой была Нина Петровская, и она бессознательно принялась искать родную душу в той толчее, которая творилась в доме ее мужа, нащупывать эту душу своими тоненькими, всегда холодными пальчиками. Нина вообще была тоненькая, бледненькая, не слишком-то хорошенькая, словно только что проснувшаяся после долгого и страшного сна, с тревожными глазами, припухшим ртом и прелестными, темными, вьющимися волосами, довольно коротко стриженными и красиво струящимися вокруг лица, однако зов плоти, который она источала всем существом своим, которым была наделена от природы, – этот зов безошибочно слышался мужчи-

нами, особенно теми, в которых было хоть что-то от фавна. Как выразился однажды – весьма безапелляционно! – Ломброзо, «эротизм является у многих женщин центром, вокруг которого группируются прочие особенности их преступной натуры». В соответствии с этими «особенностями» Ниночка потихоньку безобразничала с многочисленными поэтами и прозаиками, которые вечно толпились в большой и «ничем не одухотворенной» квартире Соколова. Иногда безобразия эти вырывались в случайные нумера случайных гостиниц – да и характер они носили случайный, именно что от слова «случка», и были не более чем данью разрушительной моде начала прошлого столетия, когда супружеская верность считалась объектом публичных осмеяний, невинность – всего лишь поводом для скорейшей дефлорации, а любовь должна была начинаться вечером и заканчиваться утром, когда в свои права вступал слякотный и ветреный ноябрьский день. Отчего-то в восприятии Нины Петровской всякий день был непременно ноябрьским, слякотным, омерзительным, испытать подобие счастья она могла только ночью, без разницы, проходила ли эта ночь за рюмкой коньку и в папиросно-ресторанном дыму-аду-чаду или в какой-нибудь несвежей постели с человеком, в котором Ниночка на миг почуяла возбужденную душу или возбужденную плоть. Ей нравилось считать себя чем-то вроде античной гетеры – подруги и вдохновительницы гениев, которая своим умением поддерживать атмосферу чувственности вдохновляет их на великие свершения. Совершенно в согласии со словами Е. Дюпуи, знаменитого исследователя социальных проблем, который именно в те годы писал в своих многочисленных работах: «Гетеры создавали вокруг себя атмосферу соревнования в искании красоты и добра, способствовали развитию науки, литературы и искусства, в этом была их сила и обаяние». Правда, среди всех социальных проблем современного ему общества Дюпуи исследовал именно проблемы проституции, но, впрочем, кем еще, как не проституткой, постепенно становилась девочка Ниночка? Другое дело, что плату за ночи свои она брала не деньгами, а неразменной монетой вдохновения – своего и чужого, она пила это вдохновение, как пчелка – нектар цветочный, как светский пьяница – коньяк, непременный напиток символистов, их, с позволения сказать, символ, а потом брела в скучную, буржуазную, приличную квартиру своего мужа и отсыпалась там днем.

«Странная пустынность тяготела над моей жизнью. Вероятно, где-то так же томились близкие мне по муке небытия, – но как было докричаться до них, как разузнать в толпе те лица, которым суждено потом неизгладимо врезаться в пейзаж моего личного существования? Иногда мне казалось: вот уйду в сумерках, потону в оснеженных переулках и где-то там, под одиноким тоскующим фонарем, под нависающими ветвями, – встречу… кого… – не знаю… Что будет за встречей… – тоже не знаю. Ах, пусть все, что угодно, только не это!»

Она много читала, знала от доски до доски «всю новую литературную проповедь», и больше всего томил ее мысли Брюсов. Со своим альманахом «Скорпион» Брюсов был издательским соперником «Грифа»-Соколова – и скандально известным поэтом, к которому с легкой руки знаменитого критика-негативиста-ниспровергателя-эпатажника Акима Волынского (на самом деле он не был ни Акимом, ни Волынским, что не мешало ему быть возлюбленным столь же эпатажной Зинаиды Гиппиус) приклеилась этикеточка – «декадент».

Тень несозданных созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене.

Фиолетовые руки
На эмалевой стене
Полусонно чертят звуки
В звонко-звучной тишине.

И прозрачные киоски,
В звонко-звучной тишине,
Вырастают, словно блестки,
При лазоревой луне.

Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне…
Звуки реют полусонно,
Звуки ластятся ко мне.

Тайны созданных созданий
С лаской ластятся ко мне,
И трепещет тень латаний
На эмалевой стене.

Никто ничего в этом стихотворении не понимал, прежде всего эти «латания» с их какими-то там лопастями были не то чушью, не то гениальностью, но именно в этой непонятливости крылась тайная сила Брюсова. Он смотрел на мир свысока, словно и впрямь был «вождь земных царей и царь», словно не образа ради, а про себя написал стихотворение «Ассаргадон»:

Кто превзойдет меня? Кто будет равен мне?
Деянья всех людей – как тень в безумном сне,
Мечта о подвигах – как детская забава!
Я исчерпал тебя до дна, земная слава!

Ниночка относилась к нему тревожно и смятенно, ибо слава его во многом была скандальна и баснословна:

«Офицеры, адвокаты, разжиренные спекулянты, модные актеры и т. п. – вся эта нечисть, питавшаяся гноем эпохи перед 1905 годом, так и была уверена, что Брюсов ест засахаренные фиалки, по ночам рыскает по кладбищенским склепам, а днем, как Фавн, играет с козами на несуществующих московских пастбищах!..»

Как-то раз Ниночке привелось мельком встретиться с Брюсовым в доме известной спиритки А.И. Бобровой.

Он появился – «в воспетом поэтами двух поколений глухо застегнутом черном сюртуке, нездешний такой и такой земной, преувеличенно корректный, светский. Совершенно не гармонируя с остальным обликом, „острым, как меч“, из-под углевых черных дуг, сурово сросшихся на переносье, сияли золотисто-черные, совсем „собачьи“ глаза. Жующие, сонно булькающие чаем с лимоном старики и старушки съежились, точно от сквозняка, заморгали совиными глазками, зашуршали, зашелестели, подняли головы… Я ушла с огорченным сердцем. Я могла бы процитировать ему два его сборника целиком, а он на меня взглянул мельком, как на стену!»

Пожалуй, именно оскорбленное самолюбие заставляет женщин частенько совершать поступки, о которых они потом если и не жалеют, то очень недоумевают. В частности, самолюбие, оскорбленное одним мужчиной, заставляет их поспешно отдаваться другому… или другим. Именно это и произошло с нашей героиней.

«Другой» не замедлил возникнуть в доме ее супруга. Для разнообразия это оказался не какой-нибудь там рифмоплет, а знаменитый, находящийся на вершине славы Константин Бальмонт – «причудливый капризник, самодержавно разрешающий все идейные и практические затруднения, органический житель вершин».

Если Брюсов стоял над миром, скрестив руки на груди, то Бальмонт этими руками ужасно своевольничал и даже где-то похабничал:

Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
Из сочных гроздий венки свивать.
Хочу упиться роскошным телом,
Хочу одежды с тебя сорвать!

Хочу я зноя атласной груди.
Мы два желанья в одно сольем.
Уйдите, боги! Уйдите, люди!
Мне сладко с нею побыть вдвоем!

Пусть будет завтра и мрак, и холод,
Сегодня сердце отдам лучу.
Я буду счастлив! Я буду молод!
Я буду дерзок! Я так хочу!

Явившись к «Грифу», он оказался вовсе не таким, как его воображала Нина: не Вакх, не сатир, не фавн – всего-навсего невысокий господин с острой рыжей бородкой и незначительным лицом. Бальмонт сбросил пальто, посмотрел на растерянную его незначительностью хозяйку…

Но если он не произвел впечатления на Ниночку, то она-то немедленно зацепила какую-то струну в многозвучной душе маэстро!

– Вы мне нравитесь! – провозгласил он. – Я хочу вам читать стихи!

Удостоил награды…

«Он стоял посреди комнаты точь-в-точь в той же позе, как на ехидном портрете Серова, краснея рубиновым кончиком носа, вызывающе выдвинув нижнюю губу, буравя блестящими зелеными остриями маленьких глазок. Петух или попугай.

«Спустите штору. Зажгите лампу».

Спустила. Зажгла.

«Теперь принесите коньяку».

Принесла.

«Теперь заприте дверь».

Не заперла, но плотно затворила.

«Теперь… (он сел в кресло) встаньте на колени и слушайте».

Я двигалась совершенно под гипнозом. Было странно, чего-то даже стыдно, но встала и на колени.

В первый раз в его чтении зазвучали убедительной силой вкрадчиво, соблазнительно то безнадежно-печальные, то не договаривающие чего-то самого главного, то шуршащие, как камыши, то звенящие, как весенние ручьи, – пленительные строфы. Раня, волнуя, муча, радуя.

Будем, как солнце, всегда молодое,
Нежно ласкать огневые цветы.
Счастлив ли? Будь же счастливее вдвое,
Будь воплощеньем внезапной мечты!

Читать Бальмонта одно, слушать – совершенно другое. Он читал с вызовом. Разбрасывая слова, своеобразно ломая ритм, в паузах нервно шурша листочками записной книжки (с ней он не расставался), крепко закусывая нижнюю губу необыкновенно острым белым клыком.

Пауза – и опять звенящие, рвущиеся нити, шуршание крыльев, журчание весенних ручьев. Через мою голову время от времени рука поэта тянулась к рюмке. Я, сохраняя неудобную позу, едва успевала ее наливать. И бутылка пустела…»

Вся их короткая связь, которая вскоре началась, – словно это чтение стихов: Нина стоит на коленях, он через ее голову тянется к бутылке. Вообще, честно, все ее последующие связи с тремя великими, один за одним, поэтами: Бальмонтом, Белым, Брюсовым – именно такая картина: Она стоит на коленях, Он тянется через ее голову к бутылке, кресту, револьверу, шприцу с морфием… не суть важно – но поза ее была неизменна.

Строго говоря, Бальмонту, который влюблялся, по словам В. Ходасевича, «во всех без изъятия», было безразлично, кто стоит на коленях перед ним и кто ему подает коньяк: Нина Петровская, NN, AA, BB, CC… У него было столько любовниц (одна за одной, одновременно – по-всякому!), что они давно уже свились перед его взором в некий «звездный хоровод»:

Я заглянул во столько глаз,
Что позабыл я навсегда,
Когда любил я в первый раз
И не любил – когда?

Как тот севильский Дон-Жуан,
Я – Вечный Жид, минутный муж.
Я знаю сказки многих стран
И тайну многих душ.

Мгновенья нежной красоты
Соткал я в звездный хоровод.
Но неисчерпанность мечты
Меня зовет – вперед.

Что было раз, то было раз,
Душе любить запрета нет.
Хочу я блеска новых глаз,
Непознанных планет.

Волненье сладостной тоски
Меня уносит вновь и вновь.
И я всегда гляжу в зрачки,
Чтоб в них читать – любовь.

Бальмонт предложил Нине любовь стремительную и испепеляющую. Отказаться было никак невозможно. Она уверила себя, что тоже влюблена, но эта «испепеляющая страсть» оставила в ней горький осадок. Прежде всего оттого, что Бальмонт в глубине души своей оказался таким же респектабельно-буржуазным, как ее муж (бедная девочка Ниночка, она всю жизнь будет натыкаться именно на таких мужчин… прежде всего потому, что все мужчины одинаковы, и женщины гораздо больше способны на безумства, чем эти роковые папильоны, вроде бы стремительно летящие на огонь, желающие сгореть в нем, а на самом деле, душою, предпочитающие порхать вокруг тепленького и безопасного домашнего камелька).

«Бальмонт, накуролесивши за зиму, буржуазно уезжал с семьей куда-то на Балтийское море, кажется, в Меррекюль». Ниночка обиделась и разговорилась о том, что он ее не любит, что она хочет всего или ничего… Ну, о чем говорят обычно все женщины. Бальмонт тоже обиделся ее неготовностью к жертве ради него:

Так скоро ты сказала:
«Нет больше сил моих!»
Мой милый друг, так мало?!
Я только начал стих.

Мой стих, всегда победный,
Желает красоты.
О друг мой, друг мой бедный,
Не отстрадала ты.

Еще я буду в пытке
Терзаться и терзать.
Я должен в длинном свитке
Легенду рассказать.

Легенду яркой были,
О том, что я – любовь,
О том, что мы любили,
Как любим вновь и вновь.

И вот твоих мучений
Хочу я как моих.
Я жажду песнопений,
Я только начал стих.

Нина прекрасно понимала: ей нужно или стать спутницей Бальмонта в его «безумных ночах», бросая в их чудовищные распутно-пьяные костры всю себя, с телом и душой, по крайней мере, перейти в его свиту, сделаться при Бальмонте этакой «женой-мироносицей», дышать только им, говорить только о нем, следовать по пятам его триумфальной колесницы… Вся штука в том, что эта самая колесница ей уже вовсе не казалась триумфальной. Можно было, конечно, сделаться просто так – светской знакомой, но Бальмонт ее не отпускал, он твердил о какой-то дружбе, о долге, и долг этой дружбы почти против воли обязывал Нину еще какое-то время «вовлекаться в бальмонтовский оргиазм» как дома, так и в каких-нибудь дешевеньких гостиничках – «в пространствах», как предпочитал выражаться ее любовник.

Впрочем, в конце концов и ему это надоело – прежде всего потому, что он понял: барышне по сердцу другой. Предпочтения ему другого он перенести не мог (да и кто смог бы?!), а потому сделал хорошую мину при плохой игре: якобы он первый решил расстаться с не оценившей его Ниной Петровской. Довольно!

Я был вам звенящей струной,
Я был вам цветущей весной,
Но вы не хотели цветов,
И вы не расслышали слов.

…Когда ж вы порвали струну,
Когда растоптали весну,
Вы мне говорите, что вот
Он звонко, он нежно поет.

Но если еще я пою,
Я помню лишь душу мою,
Для вас же давно я погас,
Довольно, довольно мне вас!

Ей тоже было довольно Бальмонта – более чем! Тем паче что и вправду – она уже глядела в другую сторону.

Сторону эту звали Борис Николаевич Бугаев, только в том-то и штука, что и носитель этого имени, и никто другой не желали его так называть, а предпочитали именовать его короче и восхитительней – Андрей Белый.

«Увидела я его случайно.

В вестибюле Исторического музея, после чьей-то лекции, в стихии летящих с вешалок, ныряющих, плавающих шуб, словно на гребне волны, беспомощно носилась странная и прекрасная голова, голубовато-призрачное лицо, нимб золотых рассыпавшихся волос вокруг непомерно высокого лба.

«Смотрите! Смотрите же, – толкнули меня в бок, – это Андрей Белый!»

Так я увидела в первый раз Андрея Белого, сражающегося с ужасами эмпирического мира. А он просто искал свою шубу… с вдохновенно-безумным лицом пророка.

Потом я отметила, что выражение его лица редко соответствовало совершаемому акту. Он пил из крохотной рюмочки шартрез с таким удивлением в синих (лучисто-огневых) глазах, точно хозяин предложил ему не простой ликер, а расплавленный закат; ходил по Арбату, направляясь в гости или на заседание в дневной толпе, точно по осиянной звездами пустыне или по дантовскому лесу, кишащему видимыми или невидимыми опасностями, то натыкаясь на людей среди бела дня, то страстно озираясь, пряча голову в плечи, прижимаясь к стенам.

Таким он был тогда, когда я увидела его, высоко вознесенного потоком шуб, звериных шкур…»

Таким Нина полюбила его.

Андрей Белый всегда был один из загадочнейших поэтов богатого на гениев Серебряного века. Над его стихами гоготали в газетах; «аргонавты», его последователи-поэты, молились на них; Блок, при том что Белый увел в свое время у него жену, и Брюсов, который соперничал с ним тоже из-за женщины и из-за места на поэтическом Олимпе, считали его отвратительным и великолепным, ненавидели его и восхищались им. Он воплощал в себе – для каждого по-своему – его лучшую поэтическую мечту о «несказанном», мечту, которой жила вся литературная эпоха, все замкнувшиеся от мира в оранжереях и «башнях» из слоновой кости.

Он пел – не читал, не декламировал, а именно пел:

Вы шумите. Табачная гарь
Дымно-синие стелет волокна.
Золотой мой фонарь —
Зажигает лучом ваши окна.

Это я в заревое стекло
К вам стучусь в час вечерний.

Снеговое чело
Разрывают, вонзясь, иглы терний.

У него и впрямь было снеговое чело, и Нине чудилось, что над ним не то еще венец терновый, не то уж сразу – нимб златой…

«Мы познакомились весной. Поздно, часов в 11, пришел А. Белый на один из грифских вечеров. Вошел, точно пробираясь сквозь колючую изгородь. Вид его меня взволновал второй раз, но, храня пристойнейший вид хозяйки дома, я пошла к нему навстречу. Помню, что захотелось иметь в руках какие-то необычайные „дары“. Но какие? Вот разве что ландыши в вазочке на столе Грифа, ранние ландыши ранней и дорогой московской весны. Он вдел веточку в петлицу, не удивляясь, точно знал, что так будет, и с ней весь вечер спорил с кем-то о Канте».

Эти ландыши потом еще аукнутся всей русской поэзии вообще и Нине в частности, но об этом речь впереди. Пока же подробнее о герое романа.

Борис Бугаев был сыном профессора математики, известного Европе учеными трудами, московским студентам – феноменальной рассеянностью и анекдотическими чудачествами, а первоклассникам-гимназистам – учебником арифметики. Профессор Бугаев в ту пору говаривал:

«Я надеюсь, что Боря выйдет лицом в мать, а умом в меня». Профессор был не только чудаковат и гениален, но и уродлив. Однажды в концерте (уже в начале девятисотых годов) Надежда Яковлевна Брюсова, сестра поэта, толкнув локтем Андрея Белого, спросила его: «Смотрите, какой человек! Вы не знаете, кто эта обезьяна?» – «Это мой папа», – отвечал Андрей Белый с тою любезнейшей, широчайшей улыбкой совершенного удовольствия, чуть не счастья, которою он любил отвечать на неприятные вопросы.

Его мать была очень хороша собой. Константин Маковский изобразил ее в виде одной из самых красивых подружек невесты на картине «Боярская свадьба». Она любила приговаривать, вертясь перед зеркалом: «А ведь я еще ничего!» – и сердце ее было не чуждо любовных волнений.

Физическому несходству супругов отвечало расхождение внутреннее. Ни умом, ни уровнем интересов друг другу они не подходили. Не только нервы, но и самое воображение Андрея Белого были раз навсегда поражены и потрясены происходившими в доме Бугаевых «житейскими грозами». Эти грозы оказали глубочайшее влияние на характер Андрея Белого и на всю его жизнь. Отца он боялся и втайне ненавидел: недаром потенциальные или свершившиеся преступления против отца составляют основу всех перечисленных романов. Матушку – жалел и восторгался ею. С годами ненависть к отцу, смешиваясь с почтением к его уму, с благоговейным изумлением перед космическими пространствами и математическими абстракциями, которые вдруг раскрывались через отца, превратилась в любовь. Влюбленность в матушку с трудом стала уживаться с нелестным представлением об ее уме и с инстинктивным отвращением к ее избыточной чувственности.

Каждое явление в семье Бугаевых подвергалось противоположным оценкам со стороны отца и со стороны матери. «Раздираемый», по собственному выражению, между родителями, Белый видел, что всякое явление оказывалось двусмысленно, раскрывалось двусторонне, двузначаще. Сперва это ставило в тупик и пугало. С годами вошло в привычку и перешло на отношения к людям, к событиям, к идеям. Он полюбил совместимость несовместимого, трагизм и сложность внутренних противоречий, правду в неправде, может быть – добро в зле и зло в добре. В жизни он не раз вел себя так, что дорогой ему человек становился врагом, а презираемый лез с объятиями. Порой он лгал близким и открывал душу первому встречному.

Отец хотел сделать его своим учеником и преемником – мать боролась с этим намерением музыкой и поэзией: не потому, что любила музыку и поэзию, а потому, что уж очень ненавидела математику. Чем дальше, тем Белому становилось яснее, что все «позитивное»,

близкое отцу, близко и ему, но что искусство и философия требуют примирения с точными знаниями – «иначе и жить нельзя». Прежде чем поступить на филологический факультет, он окончил математический. В результате он пришел к мистике, а затем к символизму.

Начав бывать у «Грифа», он сразу обратил внимание на Нину Петровскую – почуял ее «особенную чуткость» к нему. Они подружились. Белому страшно импонировало, что Нина считает его «новым Христом». Ему было совершенно все равно, что Соколова часто нет дома («наши однажды скрестившиеся дороги пошли фатально в разные стороны», – напишет о разладе с мужем Нина), что вокруг бледной, словно бы всегда утомленной, вяло курившей хозяйки толпятся днем и ночью какие-то мужчины, что она с сомнамбулическим выражением часто то с одним, то с другим покидает общую компанию, а потом возвращается, на ходу приглаживая волосы и оправляя платье, сохраняя все тот же сомнамбулический и невинно-девичий вид, в то время как спутник ее приходит сконфужен, красен, потен и доволен. Кстати, об этом редкостном умении Нины Петровской вечно быть «не от мира сего» Брюсов спустя год-другой напишет так:

Черты твои – детские, скромные,
Закрыты стыдливо виски,
И смотрят так странно бездонные,
Большие зрачки.

Движеньями грустно-усталыми
Ты просишь: оставьте меня!
Язвит тебя жгучими жалами
Действительность дня.

Не сомкнуты губы бессильные,
Как будто им нечем вдохнуть,
Как будто покровы могильные
Томят тебе грудь.

Как будто ты помнишь далекое,
Что было, быть может, лишь сном.
И сердце твое одинокое —
Навеки в былом.

Как призраки, горько ненужные,
Мы, люди, скользим пред тобой.
Ты смотришься в дали жемчужные
Поникшей душой.

К глубинам родным наклоняешься
И рада виденьям, – но вдруг,
Вся вздрогнув, опять возвращаешься
Печально в наш круг.

Андрей Белый вообще был склонен к духовному мистицизму и считал любовь платоническую высшим достижением и счастьем человеческим. При этом от матери он унаследовал достаточно чувственности, чтобы впадать иной раз в искушение, а от отца – достаточно ком-

плексов, чтобы потом с наслаждением презирать и себя, и ту женщину, которая подвергла его искушению. Именно с наслаждением! Как говорится, не согрешишь – не покаешься.

В своих воспоминаниях Белый с некоторой даже оторопью фиксировал тонкости отношений с Ниной – вернее, те этапы, по которым проходила его душа:

«С осени 1903 г. совершенно неожиданно вырастает моя дружба с Н.

…Моя тяга к Петровской окончательно определяется; она становится мне самым близким человеком, но я начинаю подозревать, что она в меня влюблена; я само чувство влюбленности стараюсь претворить в мистерию…»

Нина очень сильно была под его влиянием. Из всех своих многочисленных туалетов она выбрала черное бархатное платье (но, заметьте себе, не балахон какой-нибудь, а такое, что мягко обливало ее, словно вторая кожа), навесила на него большой тяжелый крест, подобный тому, который носил Белый, на руку навертела вместо браслета четки, ходила в церковь по делу и за делом и беспрестанно каялась, стала «Грифа» называть «Грехом» и отреклась от него… Белый мечтал уйти в заоблачные выси во время своих медитаций – Нина размышляла о самоубийстве, не только тайно, но и публично – в рассказе «Последняя ночь».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.